

Дорогой Станислав Юрьевич, привет вам из Сибири, с берегов верхней Лены! Не знаю, доводилось ли вам бывать в наших краях или нет, но как таёжник таёжнику, как рыбак рыбаку крепко жму вашу руку.

Простите, что задержался с ответом, хотя собирался непременно написать сразу по прочтении присланных книг. И всё не решался, помня о том, что вы попросили высказать замечания, если таковые возникнут по ходу чтения. И я, разумеется, стал читать, наивно надеясь, что смогу что-то “заметить”, а следовательно, быть полезным...

В общем, я прочёл ваши книги, но ни одной помарки не сделал, так что в этом смысле проку от меня никакого. Поэтому и не писал. Говорю это не ради похвалы, дескать, какие у вас глубокие, доказательные работы, помарки не подточит. Меня больше волнует другое, а именно то, что ваша публицистика на тему холокоста или взаимоотношений русских и поляков, к сожалению, по большей части недоступна пониманию моего поколения – поколения детей демократии, над которыми ставился этот чудовищный эксперимент забвения отечественной истории, русской культуры, русского национального самосознания.

Эксперимент удался, надо признать. Случай с Карбышевым, не к месту помянутым в одном из телешоу молодой комедийной артисткой, элементарно не знавшей о героической судьбе генерала, – тому подтверждение, одно из многих. Специально заостряю внимание на том давнишнем скандале, наделавшем шума, поскольку в чём-то я понимаю эту девушку, не осуждаю и принимаю её раскаяние, опубликованное на личной страничке в интернете. Потому что так-то многие из нас, пребывающих в нетях, могли схохнуть, потому что это ведь и раскаяние всего нашего поколения, не помнящего родства. И тут не только и не столько наша вина. Всё на это беспамятство работало – и телевидение, и газеты, и школы, и зарубежные фонды вроде соросовского. Да и писатели известного вам околотка потрудились вволюшку, развенчивая “совок”, взahlёб славя Бориса-стукача, Новодворскую, Гайдара и прочую, как сказал бы Есенин, “сволочь”, а страницы истории, которыми должно гордиться, замалчивая или вымарывая. Вот и получили на выходе занимательные “качели”, когда всё, чего следовало бы стыдиться и опасаться, вознесли до небес, выставив на всеобщее обозрение, а то, с чем, перефразируя Достоевского, можно хоть сейчас к Богу отправиться всему русскому народу, не боясь быть непонятыми и непощёнными, низринули и засунули в такое место, которое и называть не хочется.

Лишь сейчас, когда мне, моему поколению жмёт под сорок, начинаешь с особой ясностью понимать, какую яму зияющую вырыли в нас годы перестройки, и в яме этой, как в дупле того самого дуба, о котором писал Юрий Кузнецов, поселилась нечистая сила всего того, что противно русскому человеку. Пусть вас не смущает, что я употребляю действительный залог. Поселилась! Убить, пожалуй, не убила, но выела до кишок, лишив, наверное, самого дорогого — веры в лучшую будущность. Чем тут оправдаешься? Не устояли. Но и как было устоять, ещё не понимая по молодости лет необходимости отстаивания себя в родном государстве. Это ведь всё равно, что отплёвывать в младенчестве материнский сосок!

И всё-таки мне представляется, что пусть не во всех и не сразу, но прободалось и в нашем поколении осознание чужеродности иных вещей и понятий, что повсеместно и, как нам думалось, справедливо вошли в нашу жизнь с единственной, как показало время, целью — разрушить. Многое и было разрушено и, наверное, навсегда, так что ничем не поправить, семимильными шагами не наверстать. Но ведь должна быть и в нашем пробуждении, в нашей русской весне точка невозврата. И раз началось оно, понимание необходимости нравственного самоопределения нации, значит, хотя и в смуте, но живёт надежда пусть к смерти, да очиститься от скверны и умереть не беспамятным к собственной истории, к собственному национальному корню.

В этом помогают и ваши, Станислав Юрьевич, книги, производя усеменение всех прочих прибудных “корней” и разных “измов”, расплзшихся по русской земле из-за чуждых нам пределов. И спасение уже грядёт, коль скоро вылупляется в голове страшная, но и живящая мысль о том, что, возможно, и надо нам было пережить и время перестройщиков, схожее с нашествием жучка-шелкопряда на сибирские кедрачи, и собственное увядание и помрачение, и, прости Господи, развал Союза. И всё ради того, чтобы на выходе из долгой мучительной болезни тем зримей, доступней в смысле общенародности и единства взгляда открылась всем нам та самая засечная черта, за которой вот уж воистину — быть или не быть России и русскому миру...

2

Возвращаясь конкретно к вашим книгам, а именно к “Жрецам и жертвам Холокоста”, одну поправку, впрочем, сделаю. Возможно, она покажется вам не принципиальной, но всё же. Я вам о ней говорил в телефонном разговоре, сейчас просто напомним. В главе “Клиника имени Матвиенко”, живописуя “шабаш” на радио “Свобода” по случаю пятидесятилетнего юбилея “антисоветского и антисемитского путча” 1956 года в Венгрии, вы в том числе цитируете и Владимира Высоцкого, чьи стихи прозвучали в радиопередаче. Не могу не заметить, что приведённые вами строки Высоцкому не принадлежат, так что пассаж о барде, “проклинающем” в своих стихах подавление венгерских и будапештских восстаний, не соответствует действительности. То же можно сказать и о вашем ревниво несправедливом монологе о якобы имевшей место быть нелюбви Высоцкого к своей стране.

Если быть совсем точным, стихи такого рода, что и процитированные вами, у Высоцкого есть. Но взгляните, как разнится ваш вариант с подлинным текстом:

*Мне сердце разрывает Будапешт,
Мне сердце разрывает Злата Прага.*

Это Высоцкий с ваших слов. А вот канонический текст, написанный в 1979 или 1980 году (так указывают высокоцковеды). Приведу две начальные строфы, дабы прояснить смысл:

*Я никогда не верил в миражи,
В грядущий рай не ладил чемодана,
Учителей сожрало море лжи
И выплюнуло возле Магадана.*

*И я не отличался от невежд,
А если отличался — очень мало, —*

Кстати, это не песенные строки, Высоцкий никогда не исполнял их под аккомпанемент гитары и вообще в последние годы жизни писал, чаще всего предуготовляя своим стихам сугубо бумажное существование, вне авторского голоса и музыки. Я не знаю, что стало причиной появления в вашей книге этих стихов в заведомо искажённом виде. Предполагаю, что в своей антипатии к Высоцкому вы, не раздумывая, положились на недостоверный источник и попросту не поняли, что со стороны нашей либеральной интеллигенции такое сознательное перевираание строк всенародно любимого поэта стало своего рода культурной аннексией, схожей с той, которой подвергся Высоцкий в известной лекции Дмитрия Быкова с провокационным названием “Высоцкий как еврей”. Что к этому добавить? Приходится сетовать на нерасторопность и недалёковидность патриотов, отдавших на откуп быковым и прочим нашего национального певца, чьи кости вот уже почти сорок лет лежат в русской земле, но, похоже, и нынче не дают им покоя.

И ещё одна маленькая – и действительно пустяковая – поправка, раз уж зашла речь о Высоцком. В книге “Умом Россию не понять”, в главке, посвящённой Александру Межирову, вы пишете о том, как Межиров в начале 1960-х годов “носился” с записями Высоцкого по Москве. И перечисляете три песни. Но лишь одна из них – “Их было восемь” – написана в названный период, а две другие – “Охота на волков” и “Як-истребитель” – в 1968-м. То есть в начале 1960-х годов Межиров не мог “носиться” с записями двух этих песен. Если и “носился”, то с какими-то другими, либо делал это позже. Но это так, к слову.

3

Более подробно хотелось бы поговорить о книге ваших избранных произведений “Сквозь слёзы на глазах...”. Во-первых, во-вторых и в-третьих: спасибо за мужское – мужское – отношение к жизни, за прекрасные выразительные строки о тайге, об охоте, о дружбе, о России. Впрочем, вы наверняка наслушались таких благодарений. А вот известна ли вам любопытная параллель, которая обнаруживается между вашими стихами и стихами Аркадия Кутилова? Думаю, вам будет приятно узнать об этой братской переключке. Я, во всяком случае, обрадовался нечаянному совпадению в творчестве двух русских поэтов, тем более что стихотворение Кутилова, которое приведу ниже, я уже знал и любил, а с вашим только сейчас познакомился. К слову, это ведь вы с подачи Вадима Кожинова и с его предисловием опубликовали в “Нашем современнике” подборку на тот момент (да и сейчас) мало кому известного поэта из Омска, но, к сожалению, уже после смерти Аркадия Павловича. Благодаря этой публикации Кутилова заметил и помянул добрым словом в одном из писем к Валентину Курбатову Виктор Петрович Астафьев: “Ещё прочёл в “Нашем современнике” потрясающие стихи омича Кутилова, погибшего рано и бесславно на улице в качестве бродяги” (2 марта 2000 года). Как, наверное, ждал Кутилов такой оценки своего таланта при жизни!

Итак, ваше стихотворение:

*Свет полуночи. Пламя костра.
Птичий крик. Лошадиное ржанье.
Летний холод. Густая роса.
Это — первое воспоминанье.*

*В эту ночь я ночью в ночном.
Распахнулись миры надо мною.
Я лежу, окружённый огнём,
тёмным воздухом и тишиною.*

*Где-то лаяли страшные псы,
а луна заливала округу,
и хрустели травой жеребцы,
и сверкали, и жались друг к другу.*

Незабываемые, хрестоматийные для русского сердца краски и звуки! А вот не менее талантливое описание такой ночи, сделанное Аркадием Кутиловым:

*Я ростом был в полчеловека,
стоял во тьме, осилив страх.
Два бородатых печенега
ругались ласково в кустах.*

*В ночи таинственно дрожало
две бороды и два огня...
...Она лежала,
тихо ржала,
она рожала
мне коня.*

Согласитесь, есть повод говорить о созвучии двух разных голосов, разных судеб. Хотя так уж ли разных, коль скоро, как все поэты, повенчаны с одной музой? А может быть, вам кто-нибудь уже говорил, что вы с Кутиловым написали близкие по смыслу стихотворения и, кто знает, вполне вероятно, что в одно время? Ведь сочинили с несущественным временным разрывом свои “Тихие родины” Владимир Соколов и Николай Рубцов. Я попытался установить дату написания кутиловского стихотворения по книге “Скелет звезды”, но произведения этого автора не датированы, вероятно, в силу жизненных обстоятельств, в которых творил Кутилов. Ваше написано в 1967 году. Предполагаю, что Кутилов создал своё в эту же пору или чуть позже. Говорю об этом более-менее утвердительно потому, что стихи Кутилова тематически и всей, так сказать, статью напоминают его произведения из раннего рукописного сборника “Первоцвет”. Сравните, например, с другим стихотворением Кутилова начального периода:

*А в детстве всё до мелочей
полно значения и смысла:
и белый свет, и тьма ночей,
крыло, весло и коромысло.*

*И чешуя пятнистых жуков,
цыплёнок, коршунном убитый,
и крик совы, и майский жук,
и луг, литовкою побритый.*

*Как в кровь — молекула вина,
как в чуткий мозг — стихотворенье,
как в ночь июльскую — луна, —
в сознание входит точка зренья.*

Весьма занимательно и то, что ваши с Кутиловым земные дорожки в определённый момент пролегли не так уж и далеко друг от друга, то есть и в этом вы по-своему совпали. Судите сами: “. . . В 1967 году Аркадий Кутилов с молодой женой и сыном уезжает на почти незнакомую ему иркутскую землю, где он когда-то родился, на родину своего покойного отца. . . (Кутилов родился в деревне Рысья Мамско-Чуйского района Иркутской области. — А. А.) В течение года он работает в одной из районных газет, много ездит, изучает жизнь и быт таёжной деревни. В его “таёжной лирике” расцветают новые краски. . .” (Цитирую из предисловия к книге стихов и прозы Аркадия Кутилова “Скелет звезды”, Омск, 1998 год.) Те, кто знаком с биографией Станислава Куняева, помнят, что и он жил в наших краях — в городе Тайшете Иркутской области, где так же, как и Кутилов, работал в районной газете, освещал жизнь простых рабочих и, конечно, писал стихи. И я вот думаю, что, может быть, вы с Аркадием Павловичем потому и пересеклись в своих стихах (и не только в процитированных, есть другие параллели), что это центробежное стремление прежде сообщила вам сама земля и некоторая схожесть ваших судеб вначале.

Отдельное спасибо поэту Станиславу Куняеву за то, что в споре, который я с юности “держу” с известными русскими поэтами Юрием Кузнецовым и Борисом Рыжим, вы в паре с Сергеем Есениным положили по золотнику на мою чашу. Выспренно и туманно? Объясню. Помню, какое жуткое чувство безнадёги вселили в меня, вчерашнего деревенского школьника, знаменитые стихи Кузнецова, которые я впервые вычитал в подборке этого автора, опубликованной в альманахе “Сибирь” в одну из первых годовщин со дня смерти Юрия Поликарповича. Так получилось, что стихи эти совпали с моим тогдашним (“лермонтовским”) отношением к жизни, к смерти, лишь усугубляя моё душевное уныние, которым я всегда страдал. Надо ли говорить, что по этой причине строчки Кузнецова автоматически вышли из разряда собственно литературного текста и стали своего рода документальным свидетельством того, что в эти годы творилось у меня на сердце, какие сомнения бурились, какие страсти пенились смолой огненной, какие силы выходили через меня в мир земной. . .

Вот эти стихи:

*Не сжалится идущий день над нами,
Пройдёт, не оставляя ничего:
Ни мысли, раздражающей его,
Ни облаков с огнями и громами.*

*Не говори, что к дереву и птице
В посмертное ты перейдёшь родство.
Не лги себе! — не будет ничего,
Ничто твоё уже не повторится.*

*Когда-нибудь и солнце, затухая,
Мелькнёт последней искрой — и навек,
А в сердце... в сердце жалоба глухая,
И человека ищет человек.*

(“Не сжалится идущий день над нами. . .”, 1969)

Вероятно, в смысле поэзии здесь всё в порядке. Правда, применительно к этому и некоторым другим произведениям Кузнецова меня всегда смущало нехристианское, разрушительное по своему воздействию отношение Юрия Поликарповича к смерти, а также то, что поэзия, созидательная по определению, собирающая хаос первоначальных смыслов в некий гармонический ряд, в случае с Кузнецовым вносила в мою жизнь разлад, ставя на острия ножей, с одной стороны, естественное стремление человека к радости бытия в евангельском смысле этого слова и, с другой — удручающее осознание невозможности этой радости ни при жизни, ни после смерти. Какая уж тут радость, если художественным словом “отстаивается” (словечко Маяковского; и “отстаивается” талантливо, ярко, великими стихами) идея тупика, финиша как итога существования всего живого!

Но всё бы ничего, мало ли каких откровений мы не наслушались из уст наших поэтов! Наверное, впоследствии мысль о конечности всего и бессмысленности людских чаяний чем-либо остаться, смутно точившая меня с отрочества и столь иллюстративно, предметно представленная в стихах Юрия Кузнецова, избылась бы сама собой, может быть, выбитая клином ещё более сильной мысли, ещё более пронзительного чувства. Но примерно в то же время, о котором идёт речь, оборвалась жизнь Бориса Рыжего, младшего современника Юрия Кузнецова. Естественно, вспыхнул интерес к творчеству этого автора, тем более что ещё при жизни Борис успел прозвучать. Вот и я не прошёл мимо, отдавая должное лирику, одарённейшему в своём поколении и в поколениях тех, кто явился ему на смену, вплоть до наших дней. Кузнецов, может быть, слышал о Борисе Рыжем, которого не стало за два года до ухода Юрия Поликарповича. Только вряд ли он знал его творчество, иначе не пройти бы ему мимо вот такого рвущего душу монолога, словно бы навеянного Борису стихами молодого Кузнецова:

*Маленький, сонный, по чёрному льду
В школу вот-вот упаду, но иду.
Мрачно идёт вдоль квартала народ.
Мрачно гудит за кварталом завод.
Песня лихая звучит надо мной.
Начался, граждане, день трудовой,
“...личико, личико, личико, ли...
будет, мой ангел, чернее земли.
Рученьки, рученьки, рученьки, ру...
будут дрожать на холодном ветру.
Маленький, маленький, маленький, ма... —
в ватный рукав выдыхает зима:
— Аленький галстук на тоненькой ше...
греет ли, мальчик, тепло ли душе?”
Всё, что я понял, я понял тогда —
Нет никого, ничего, никогда.
Где бы я ни был — на чёрном ветру
В чёрном снегу — упаду и умру.
Будет завод надо мною гудеть.
Будет звезда надо мною гореть.
Ржавая, в чёрных прожилках звезда.
И — никого. Ничего. Никогда.*

(“Маленький, сонный, по чёрному льду...”, 1995 год)

Жизнеутверждающая картинка, не правда ли? Оторопь берёт пуще, чем после стихов Кузнецова. Оговорюсь, что параллель с Кузнецовым сугубо литературоведческая, потому что нет свидетельств того, как Борис Рыжий относился к его творчеству и вообще был ли ему известен кузнецовский текст. Однако схожесть взглядов этих двух поэтов просматривается, только у Бориса всё гораздо трагичнее. Надо полагать, потому, что Рыжий опростил мысль о неповторяемости жизни до бытового уровня, считываемого с большим сердечным состраданием, нежели сугубо литературный текст с отвлечёнными обще-поэтическими понятиями вроде солнца или птицы, какими по преимуществу изъяснялся Кузнецов (не считая некоторых стихотворений, например, о похоронах матери или посещении Кубани). Эта-то приближённость поэзии Рыжего к жизни, к жизни конкретно нашего постперестроечного поколения, мрачность взгляда поэта на своё время ударили меня словно бы в пику отшибающим душу признаниям Кузнецова. Справедливости ради замечу, что если Юрий Поликарпович, похоже, раз и навсегда определился в размышлениях о повторяемости/неповторяемости жизни, то Борис Рыжий находился в раздрае и, судя по его стихам, по амплитудному шатанию от одной мысли к другой, окончательно не решил для себя проблему перфективного существования или его невозможности. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в другом известном произведении Рыжего фигурирует мысль, прямо противоположная приведённой в ранее процитированном стихотворении:

*У памяти, на самой кромке
и на единственной ноге
стоит в ворованной дублёрке
Василий Кончев — Гончев, “Ге”!
Он потерял протез по пьянке,
а с ним ботинок дорогой.
Пьёт пиво из литровой банки,
как будто в пиве есть покой.
А я протягиваю руку:
уже хорош, давай сюда!
Я верю, мы живём по кругу,
не умираем никогда.
И остаётся, остаётся
мне ждать, дыханье затая:
вот он допьёт и улыбнётся.
И повторится жизнь моя.*

Но причём здесь ваша книга стихов, спросите вы. А вот причём. Долгое время я не находил в стихах современников равносильного ответа Кузнецову и Рыжему. Притом что ответить им, оспорить их точку зрения хотелось уже потому, что и я, повторюсь, разделял то же тревожное ощущение трагичной тупиковости бытия. Стало быть, это нужно было, в первую очередь, мне. И вот только читая вашу книгу я, наконец, нашёл поддержку в стихотворении 1970 года “Прощание с Тянь-Шанем”:

*Благоуханная страна,
Всю жизнь звала меня не ты ли,
Чтоб синь твоя и желтизна
В моей крови перебрадили!*

*Я забредал в такую даль,
Чтобы узнать за эти годы,
Как пьёт в расщелинах миндаля
Твои заоблачные воды.*

*Я видел, как, пронзая снег,
Средь поднебесного безлюдья
Тянулся розовый побег
И трепетал от жизнелюбья.*

*И я подслушал твой секрет,
Который выболтала птица:
Нельзя покинуть белый свет
И ни во что не воплотиться.*

*Прощай! Я не хочу спешить,
Но всё же час пришёл сознаться:
Затем, чтоб новой жизнью жить, —
От старой надо отказаться.*

*Не верь, что молодость прошла,
Не плачь, что юность отзвучала, —
Не могут выгореть дотла
Все жизнестойкие начала.*

*Не потому ли, как привет,
Как обещанье жизни новой,
Кивнул мне на прощанье вслед
Подсолнух золотоголовый.*

Какое чудесное, святящееся, как весенний дождь, стихотворение! Какая потрясающая, бросающая в дрожь телесность ощущения жизни, что я более всего ценю в поэзии, но, увы, не у всякого современного поэта нахожу! Прочитал и вдохновился. И сказал себе: “Вот оно!” Вот он равносильный ответ Кузнецову:

*И я подслушал твой секрет,
Который выболтала птица:
Нельзя покинуть белый свет
И ни во что не воплотиться...*

“Не говори... не лги себе!..” — заклинает Кузнецов и уверяет: “Ничто твоё не повторится...”, а вы словно бы парируете: “Нельзя... не воплотиться”. Совпадение? Вряд ли. К тому же и в стихах Кузнецова, и в ваших упоминается птица. А это уже похоже на скрытую полемику, тем более что “Не сжалится идущий день над нами...” Кузнецов сочинил за год до вашего “Прощания с Тянь-Шанем”...

К этому добавлю лишь то, что, перечитывая недавно Сергея Есенина, чьи книги не открывал лет десять, с того момента, как во время учёбы на

последнем курсе филфака писал дипломную работу по “Чёрному человеку”, я наткнулся на строчки, почему-то мною забытые. Речь идёт о сжатой до стихотворения маленькой поэме “Цветы”, на которую Есенин в своё время делал ставку, говоря, что это – лучшее из написанного им, и советуя немного выпить, прежде чем читать. Пить я, впрочем, не стал, но есенинской мыслью проникся, ведь она пришлась как нельзя более кстати, в тон моим размышлениям, что видно и на текстуальном уровне:

*Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я вовеки не увижу
Её лицо и отчий край.*

*Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь,
Как ласку новую, приемлю.*

*И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —
Я говорю на каждый миг,
Что всё на свете повторимо.*

*Не всё ль равно — придёт другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.*

*И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.*

(“Цветы мне говорят – прощай...”, 27 окт. 1924 года)

Не кажется ли вам, Станислав Юрьевич, что в третьей строфе этого есенинского стихотворения – как будто отзвук всё того же спора, который и по сей день незримо и, может быть, незнамо для них длится между поэтами? Только если Кузнецов с Рыжим пугают: “ничто не повторится”, не будет “ничего, никого, никогда” и вообще, дескать, трава не расти, то вы с Есениным убеждаете в обратном: “нельзя не воплотиться”, “всё на свете повторимо”. Правда, Есенин несколько противоречит себе и, заявляя о повторимости всего на свете, сравнивает себя с “цветком неповторимым...” Но, зная о судьбе Сергея, о предчувствии им своей близкой гибели, о мучительном расставании поэта с самим собой, с уходящей молодостью, можно принять и понять эту оговорку...

Подводя итог, скажу, что есенинские “Цветы”, говорящие поэту “прощай”, “головками склоняясь ниже”, и так чудно перепевающиеся с “кивающим вслед подсолнухом золотоголовым” из вашего “Прощания”, подарили мне чувство свободы, если иметь в виду, что всякая богопротивная идея сковывает плоть и отягчает дух. И только мысль о радости и красоте бытия дарует ощущение подлинной безграничности существования. Спасибо русским поэтам Сергею Есенину и Станиславу Куняеву за эту радость!

5

... В конце своего безмерно затянувшегося письма немного попеняю вам, Станислав Юрьевич, за то, что не обнаружил среди ваших избранных произведений своего любимого. Зато нашёл его в книге “Воспоминаний”, изданной в 2016 году. Это стихотворение 1966 года, посвящённое памяти вашего товарища Геннадия Калиничева, корреспондента районной газеты, который замёрз в зимней Сибири, будучи в подпитии. Чем мне приглянулись эти стихи?

Наверное, тем, что я читал их с удивлением, как собственное произведение, обнаруженное в книге другого автора. Читал и рассуждал примерно так: “Да это же поэтическое изложение моей повести “Дядька”!” Вернее, некий концентрированный её настой, настолько сильный, что, спроси меня теперь, чем бы я мог объяснить драматическую судьбу своего героя, деревенского пьяницы, в одну из ноябрьских ночей задохнувшегося печным дымом, я не задумываясь прочитал бы ваши стихи:

*Далеко в земле сибирской,
В захолустном городке,
Умер мой товарищ близкий
И сегодня я в тоске.
Пишут, что прилёг с похмелья
Отогреться у земли, —
И сибирские метели
Юношу не пожалели,
Белым снегом замели.
Говорят, что много пил,
Только в этом ли причина?
Песню русскую любил:
— Догорай, моя лучина...*

Замечательно метко с точки зрения постижения русского характера! Такое свидетельство нельзя оставить, начитавшись книжек или насмотревшись “Калины красной”. Это уж самой жизнью, шатаниями по тайге, ночами, проведёнными в избушке, разговорами с русскими стариками вроде охотника из Ербогачёна Романа Фаркова даёт ощущение этих вывихов и изворотов русской души, которая и в самом деле пуще всего песню русскую любит, да заветную, горькую — про лучину, про родимую... “Догора-ай!..”

Так-то и Пушкин писал: “Всё, всё, что гибелью грозит...”, так-то и нелюбимый вами Высоцкий пел: “Вдоль обрыва по-над пропастью по самому по краю...” Так-то и мой герой “любил”, так-то и мой Дядька кричал “с гибельным восторгом”: “Пропадаю-ю-ю!” И, конечно, умер не потому, что “много пил” (хотя и это было), и даже не из-за того, что не вписался в новые — демократические — времена (подумать так проще всего). Нет, такие, как Высоцкий, как герой вашего стихотворения, как мой Дядька всегда, при всякой власти, при любом государственном устройстве губили себя сами и умирали до срока, чаще всего рано и нелепо. В этом-то и боль наша, и тоска вековая по невозможности жить иначе. Но и понимание, что живи мы по-другому, “будь она, песня, подлинней”, как писал Шукшин, — пожалуй, не были бы мы русскими.

Вот с благодарностью за то, что русский человек постигнут вами, как мало кем из моих современников, с любовью к вам, к вашим книгам, к вашему — нашему — “Нашему современнику” я и заканчиваю своё письмо.

*Посёлок Казарки
Усть-Кутского района
Иркутской области*